

Смесь вакханки и Матрены

Мирра ЛОХВИЦКАЯ

1869, Петербург – 1905, там же

Умей страдать

Когда в тебе клеймят и женщину, и мать –
За миг, один лишь миг, украденный у счастья,
Безмолвствуя, храни покой бесстрастия, –
Умей молчать!

И если радостей короткой будет нить
И твой кумир тебя осудит скоро
На гнет тоски, и горя, и позора, –
Умей любить!

И если на тебе избрания печать,
Но суждено тебе влачить ярмо рабыни,
Неси свой крест с величием богини, –
Умей страдать!

1895

Торжества и самовластия,
В наших снах видений нет.

Всё исчезло без возврата.
Где сиявшие когда-то
В ореоле золотом?
Те, что шли к заветной цели,
Что на пытке не бледнели,
Не стонали под кнутом?

Где не знавшие печалей,
В диком блеске вакханалий
Прожигавшие года?
Где вы, люди? Мимо, мимо!
Всё ушло невозвратимо,
Всё угасло без следа.

И на радость лицемерам
Жизнь ползет в тумане сером,
Безответна и глуха.
Вера спит. Молчит наука.
И царит над нами скука,
Мать порока и греха.

<1898>

Вещи

<1897>

Дневной кошмар неистощимой скуки,
Что каждый день сведает жизнь мою,
Что давит ум и утомляет руки,
Что я напрасно жгу и раздаю;

О, вы, картонки, перья, нитки, папки,
Обрезки кружев, ленты, лоскутки,
Крючки, флаконы, пряжки, бусы, тряпки –
Дневной кошмар унынья и тоски!

Откуда вы? К чему вы? Для чего вы?
Придет ли тот неведомый герой,
Кто не посмотрит, стары вы или новы,
А выбросит весь этот хлам долой!

В наши дни

Что за нравы, что за время!
Все лениво тащат бремя,
Не мечтая об ином.
Скучно в их собраниях сонных,
В их забавах обыденных,
В их веселье напускном.

Мы, застыя в желаньях скромных,
Ищем красок полутемных,
Ненавидя мрак и свет.
Нас не манит призрак счастья,

Одно из самых приятных литературных воспоминаний, – писал И.А. Бунин в конце 1920-х годов в Париже, – о Мирре Александровне Лохвицкой. Она умерла еще молодой

и вскоре после смерти была забыта. Но при жизни пользовалась известностью, слыла «русской Сафо» (как, впрочем, многие русские поэтессы). Воспевала она любовь, страсть, и все поэтоу воображали ее себе чуть не вакханкой, совсем не подозревая, что она, при всей своей молодости, уже давно замужем, – муж ее был один из московских французов, по фамилии Жибер, – что она мать нескольких детей, большая домоседка, по-восточному ленива: часто даже гостей принимает, лежа на софе в капоте, и никогда не говорит с ними с поэтической томностью, а, напротив, болтает очень здраво, просто, с большим остроумием, наблюдательностью и чудесной насмешливостью, – всё, очевидно, родовые черты, столь блестяще развившиеся у ее сестры, Н.А. Тэффи. Такой, по крайней мере, знал ее я, а я знал ее довольно долго, посещал ее дом нередко, был с ней в приятельстве, – мы даже называли друг друга уменьшительными именами, хотя всегда как будто иронически, с шутками друг над другом.

– Миррочка, дорогая, опять лежите?
– Опять.
– А где ваша лира, тирс, тимпан?
Она заливалась смехом:
– Лира где-то там, не знаю, а тирс и тимпан куда-то затащили дети...

С особенным удовольствием вспоминаю нашу первую встречу. Мы случайно сошлись в редакции «Русской мысли» – оба принесли туда стихи, – познакомились и вместе вышли. Всё

было очень бело, валил крупный снег, впереди ничего не было видно, – только очаровательная белизна. Она тотчас же весело начала:

– Послушайте, а про мужиков это тоже вы пишете?

– Я не про одних мужиков пишу.

– Но все-таки – вы?

– Я.

– Зачем?

– А почему же не писать и про мужиков?

– Ну вот! Пусть себе живут и пашут, нам-то что до них? Удивительнее всего то, что за них тоже, говорят, платят. Вам сколько платят?

– Рублей семьдесят пять, восемьдесят за лист.

– Боже мой! А за стихи сколько?

– Полтинник за строчку.

Она даже приостановилась:

– Как? А почему же мне всего четвертак?

– Не знаю.

– Значит, я хуже вас?

– Помилуй бог, что вы!

– Но в чем же тогда дело? Вам сколько лет?

– Двадцать четыре.

– Ну тогда, очевидно, только потому, что я по сравнению с вами еще ребенок... (Лукавство собеседницы Бунина заключалась в том, что она была на год его старше. – Е.Е.) И всё в ней было прелестно – звук голоса, живость речи, блеск глаз, эта милая, легкая шутливость... Она и правда была тогда совсем молоденькая и очень хорошенькая. Особенно прекрасен был цвет ее лица, – матовый, ровный, подобный цветку крымского яблока. На ней было что-то нарядное, из серого меха, шляпка тоже меховая. И всё это было в снегу, в крупных белых хлопьях, которые валили, све-жо тая на ее щеках, на губах, на ресницах...

Мирра Лохвицкая родилась в семье известного столичного адвоката, профессора права. Окончила Александровский институт в Москве. Имела пятерых детей. По собственному признанию, стихи начала писать «с тех пор, как научилась держать перо в руках», но «серьезно предалась этому с 15-ти лет». В 19 впервые выступила в печати, в 27 выпустила первый сборник, удостоившийся половинной Пушкинской премии Академии наук. Последний, 5-й сборник вышел через восемь лет, за год до смерти, и был отмечен еще одной половинной Пушкинской премией, но уже посмертно.

Николай Минский отметил, что Мирра Лохвицкая занимает «какое-то срединное место между старою и новою школою». Ее стихи ценили и такие традиционалисты, как Аполлон Майков, Арсений Голенищев-Кутузов, Константин Случевский, и такие искатели новизны, как Константин Фофанов, Федор Сологуб, Константин Бальмонт. С Бальмонтом, кстати, у Лохвицкой был, по словам меуариста П.П. Перцова, «широко нашумевший в литературных кругах» роман, «воспетый ими обоими, в особенности же ею, в своих стихах». Бальмонта она называет Лионелем: «Лионель, певец луны, Любит призрачные сны, Зыбь болотного огня, Трепет листьев и – меня... Лионель, любимый мой, Днем – бесстрашный и немой, Оживает в мгле ночной С лунным светом и – со мной».

Правда ли, что Мирра Лохвицкая, поэтесса в общем плохонькая, устарела, как лорнет?

В чем-то да,

а в чем-то нет.

И во мне полно плохейщины и банальщины вдвойне, но за что-то любят женщины – значит, что-то есть во мне.

И судьба ее побаловала страстью полуБога-Бальмонта, вкусом как бы самого Александра свет Сергеевича, премии посмертно сегощего нам от щедрости его.

Смесь вакханки и Матрены, чуть цыганки и матроны. «Кто по нраву – ночь его» – всем стихи журчали мило, но, играя в сверхкумира, глубоко страдала Мирра, что от женщины-вампира в ней на деле – ничего.

Эти стихи написаны между 1896 и 1898 годами. А в 1903-м Бальмонт посвятил Лохвицкой сборник «Будем как солнце». Ее именем он назвал одну из своих дочерей. И уверял, что знает только двух поэтесс – Сафо и Мирру Лохвицкую. Затем присоединил к ним третью – Анну Ахматову.

Мирра Лохвицкая отважилась на стихи, которые раньше можно было услышать только от поэтов-мужчин:

Это счастье – сладострастье...

И, конечно, была обвинена критикой в безнравственности и даже в склонности к «декадентской похотливости». Однако Лев Толстой был к ней куда снисходительней. В передаче беллетриста Василия Немировича-Данченко, он говорил: «Молодым пьяным вином бьет. Уходит, остынет, и потекут чистые воды». Правда, со временем декларативная чувственность (весьма робкая по нынешним меркам) перестала шокировать привыкшую к поэтической открытости критику, находившую уже в раскованных стихах поэтессы «больше искренности, чем нескромности».

Игорь Северянин, пришедший в поэзию через несколько лет после смерти Мирры Лохвицкой, почтил ее память прекрасной строкой:

Прах Мирры Лохвицкой осклепен...

Около ста ее стихотворений положено на музыку, некоторые неоднократно.

Как бы мне увидеть Миррочку, напроситься к ней на выручку, чтобы стали мы впритирочку на двоих – один поэт, под один нырнули плед.

Оба мы многосемейные с нашей русскою Сафо. Но, в любви благоговейные, постоянно мы влюбленные, непредвиденно в кого.

Мы бы с ней высокопарили, опрашивая без стыда, потому что оба – пари, а совсем не господа.

По плечам струились локонцы в бальной полунагоде, когда мимо Мирра Лохвицкая проплывала в декольте.

Уцелел от склепа Ленина и от камеры ЧК, Северяниным осклепена наша Мирра-Миррочка.

Евгений ЕВТУШЕНКО

07.10.05
Лохвицкая Мирра